



## НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ДУЭЛЬ

*Вячеслав Васильевич Нескоромных родился в 1958 году на Алтае. Профессор Сибирского федерального университета, доктор технических наук, заведующий кафедрой технологии и техники геологоразведки. Член РАЕН. Автор ряда учебников, монографий, изобретений, художественных и публицистических работ. Публиковался в журналах «Роман-газета», «Аврора», «Балтика», «День и Ночь», «Енисей», «Бийский вестник» и др. Победитель литературных конкурсов «Присутствие», «Петроглиф», «Уральский книгоход», «Иду на грозу», конкурса журнала «Роман-газета» совместно с «Печорин.нет». Лауреат Международного литературного конкурса «Русский Гофман», Всероссийского литературного конкурса «Голос Севера», литературной премии им. С.Т. Аксакова и др. Член Российского Союза писателей. Живёт в Красноярске.*

Александр неистово, меняя пистолеты, отправлял свинцовые градины в сторону старой берёзы, что стояла на окраине леса в преддверии обширного красивого луга. Луг этот теперь был покрыт снегом, и только отдельные кусты и стебли одиноко и обречённо качались на ветру, готовые уже отдаться на волю напору ветра и стыллой поры. Поры, что на долгие месяцы сковывает и речку, что вилась невдалеке, и землю, только что отдавшую свой урожай, и стволы берёз, избавившиеся от беспокойной листвы и движущейся по древесине влаги, чтобы не быть разорванной жестоким морозом.

Луг был необычайно красив в начале лета, в пору цветения. Здесь на опушке росла черёмуха, цвела сирень, и чередя теснившихся берёз выходила кланяться ветрам. Было невероятно прекрасно скакать на резвом, застоявшемся в конюшне скакуне вдоль опушки, улавливая ароматы

лета вперемешку с запахом кожи седла, сбруи, добротных новых перчаток и конского пота, наслаждаясь необычайной ширью здешних, таких знакомых, родных и любимых просторов.

На стволе берёзы был прикреплён листок с начертанным размашистым пером профилем ненавистного графа Толстого, но пули раз за разом проносились мимо этого нахального вруна, нечистого на руку игрока, и только одна ударила в ствол выше на целую сажень, но и это было успехом.

— Да, стрелец из меня никудышный, потерял сноровку, — подумал Александр и, разрядив в отчаянии последний заряженный пистолет, присел на оружейную коробку. Александр сокрушённо рассуждал о том, что к дуэли с этим наглецом он не готов, и хотя цыганка, к которой он захал, покидая Петербург, нагадала ему, что нынче он не будет убит, всё же было тревожно, и холодило сердце в самой его серёдочке, как только представлял он грядущий поединок.

Вспомнил Саша цыганку в цветастом платке, с тёмным от времени лицом, со сверкающими длинными подвесками-серьгами в растянутых годах, практически чёрных ушах, что, глядя то в карты, то ему в глаза, время от времени отворачивалась к чадащей свече и что-то шептала-приговаривала. Закончив обряд, тихо и внятно произнесла своим трескучим голосом, что ещё

не пришло его время, многое в жизни случится-произойдёт, а убит он будет на дуэли и умрёт в муках от руки белокурого красавчика.

Толстой — яркий брюнет с изрядно побитой сединой шевелюрой вьющихся волос, и если верить старой ведьме, то не он, а другой будет тем, кто убьёт его.

Озябнув на ветру и услышав, как нетерпеливо перебирает ногами продрогший, привязанный к дереву конь, Саша встал и направился, ступая след в след своим ранее сделанным шагам, назад к лесу. По шкуре коня пробегала дрожь, и, высоко поднимая голову, животное неистово косило широко раскрытыми глазами, выказывая таким образом своё недовольство тем, что, конечно, не дело это — оставлять разгорячённую лошадь на холоде без попоны в ожидании и в нетерпении, что, наконец, они поскачут с хозяином к дому, тёплой конюшне, согреваясь на ходу и выбивая из-под копыт смёрзшуюся землю с пожухлой травой и комья только ночью выпавшего снега.

В усадьбе, прошагав быстрыми шагами к себе наверх, бросив предварительно шапку и сюртук на кресло в вестибюле, раздосадованный и даже раздражённый всем этим навалившимся на него воспоминанием Александр присел на кровать и взял разбросанные, исписанные с утра быстрой рукой листки. Глядел на

рифмованные строчки, что, убега-  
я, вновь увлекли его за собой  
к таким понятным и приятным  
ему одному приятелям Онегину  
и Ленскому, которым он только  
нынче подарил жизнь и взялся  
их проводить до самого эпилога.  
Эпилог намечался, впрочем,  
нескоро, ибо ещё и основной  
сюжет до конца не прояснился.  
Как раз в описании был эпизод с  
дуэлью, и на листе под вымаран-  
ными много раз строками был  
профиль его противника — образ  
беспощадного к людским слабостям  
графа Толстого.

Арина Родионовна, оберегая  
быт Сашеньки, знала: трогать  
что-то на столе или кровати с  
утра работающего, едва прод-  
равшего глаза Саши нельзя. Тот  
мог провести в кровати и целый  
день, проснувшись к обеду, — и  
только к ужину, особенно в зим-  
ние дни, выходил в зал и столо-  
вую. Всё писал, писал, говорил  
потом невпопад, кушал впопыхах,  
отрешившись; грёзами, образами  
ещё дышало сознание. А то вдруг  
срывался на полуслове и летел  
— то ли за село, оседлав коня,  
то ли в гости к соседям, где мог  
провести время до самого утра за  
картами и разговорами.

Однако после возвращения  
тревога и отчаяние не давали  
покоя, и, выдернув из пачки  
новый лист, склонившись над  
столом, Александр написал, как  
выдохнул:

*В жизни мрачной и презренной  
Был он долго погружён,*

*Долго все концы вселенной  
Осквернял разворотом он.  
Но, исправясь понемногу,  
Он загладил свой позор,  
И теперь он — слава Богу —  
Только что картёжный вор.*

Выпростав эмоцию и несколько  
успокоившись, Саша вспом-  
нил лицо графа Толстого, когда,  
сидя у князя Шаховского за сто-  
лом, он, проигравшись в штосс  
уже изрядно, третий раз кряду,  
отметил, как, плутовато кося  
глазами, граф Толстой спрятал  
в рукав карту и извлёк из него  
другую, тут же предъявив как  
выигрышную.

— Граф, да Вы плут! Карту  
вот только что передёрнули! Это  
бесчестно! — воскликнул Алек-  
сандр.

— И что! Это, право, не пре-  
ступление! А Вы не горячитесь  
ли чрез меры, молодой человек?!  
— вытаращив свои тёмные, на-  
выкате, глаза, бессовестно пари-  
ровал граф. Граф был нахален,  
всё его существо дышало жадной  
плотью, требующей всё более но-  
вых впечатлений от жизни. Буд-  
дучи шумлив и малопредсказуем  
в своих порывах, граф был непо-  
нятен и оттого казался опасным.  
Он сорил деньгами, мог щедро  
одарить добрым словом, а мог  
(и делал это часто) просто оскор-  
бить или, того более, вклеить по-  
щёчину за малейший промах или  
грубость.

— Вы плут! Бессовестный  
плут! Если изволите, я готов отве-  
тить за свои слова, — выкрикнул

Александр и вышел стремительно из комнаты, понимая, что эта его выходка не останется незамеченной и следует ждать последствий.

Граф Толстой, скривившись после слов сопляка Пушкина, которому двадцать лет только миновало, вдруг подумал, что стреляться с ним совсем не хочется. Сказывали, что талантлив в стихосложении мальчишка необычайно, и сам Державин его отметил и сказал, что растёт великий русский Поэт, которому он передаёт своё главенство в русской литературе. Это в шестнадцать-то лет от роду! С Державиным Толстой был согласен. Стихи и поэма «Руслан и Людмила» уже были изданы, и даже завистники, поджимая губы, сознавались, что талант пробивается к солнцу значительный.

Правда, самого Сашу Пушкина воспринимали несерьёзно. Многие просто не любили, насмехались даже. Вертлявый, некрасив, горячился излишне по пустякам этот нескладный малец, часто терял лицо, кривляясь и злословя, волочил за каждой кружевной юбочкой и всё норовил схватиться с любым, кто как-то перечил и ставил ему на вид.

— Несерьёзен, так и растратит свои способности, — следовал вердикт-пожелание, ибо очень для многих было завистливо видеть, как кристаллизуется и прорезается, уже сверкает гранями талант мальчишки.

Граф понимал: как-то отвечать было нужно, не потеряв солидного уже лица, и проучить выскочку тоже следовало. Устав уже от бессмысленных схваток, наученный горьким опытом, тем не менее, граф, следуя сложившемуся о нём суждению, старался не прощать обидных слов. Статус требовал!

— Вот каков сопляк! Ещё из штанишек не вырос детских, а туда же — меня, Толстого, на дуэль вызывать! Я покажу тебе дуэль! — пронеслось в голове.

— А вы знаете, господа, что с Пушкина, когда впервые задержали и привели в жандармское отделение, начальник охраны приказал для острастки спустить штаны и выпороть юного выскочку, чтобы одумался и впредь власти не перечил. Так вот и ходит выпоротый Пушкин с синим задом и срывает злобу свою на добропорядочных подданных Его Величества Императора.

Слова эти разносили сразу по всему Петербургу злые языки, и, если бы только граф Толстой зимой 1820 года был в Петербурге, быть дуэли. Но случай развёл их в тот раз. А затем Толстой пробыл зиму в Москве безвыездно, встречи не случилось, но Пушкин затаил обиду и только ждал того, как они пересекутся, чтобы бросить в лицо обидчику перчатку. Но весной, после обидного разбирательства по поводу «скверных» стихов и эпиграмм, Пушкину прописали высылку «на юга» с условием не являться

в столицу и Москву до соответствующего разрешения. Крым, Кишинёв, село Михайловское приняли на долгие шесть лет опального и разобиженного поэта, который лелеял в сердце гнев на сумасбродного графа, тем более что тот не остался в долгу и, прознав о порывах «мальца», ответил не менее язвительной эпиграммой:

*Сатиры нравственной  
язвительное жало  
С пасквильной клеветой  
не сходствует нисколько.  
В восторге подлых чувств ты,  
Пушкин, то забыл,  
Презренным чти тебя,  
ничтожным сколько чтил.  
Примером ты рази,  
а не стихом пороки  
И вспомни, милый друг,  
что у тебя есть щёки.*

В Кишинёве Пушкин рвал и метал, задирался и не раз доводил дело до дуэли, как бы репетируя разборку с графом.

Стреляться с графом Толстым было равносильно самоубийству. Были известны подделки графа, а число им убитых на дуэлях превысило десяток, при этом сам любитель рискнуть собственной жизнью ни разу не был даже ранен. Зловредный нрав графа, его послужной список, исчислявшийся множеством реальных и мнимых подвигов, требовали осторожности, что, впрочем, молодому поэту было несвойственно.

— Сгоришь, Саша, как моль на свече, — предостерегали друзья, пытаясь вразумить гордеца.

Репутация же у графа Толстого была действительно оглушительно неприличною, но не без героического пафоса. Отличившись в молодые годы на поприще пьяных дебошей и дуэлей, отметившись даже полётом на воздушном шаре над Петербургом, спасаясь от жандармерии и крепости, гвардейский поручик граф Толстой отправился в 1803 году по протекции в кругосветное плавание на судне «Надежда» в качестве члена посольской миссии камергера Николая Резанова в Японию. В противном случае ждали юного Фёдора Толстого гулкий и сырой каземат, разбирательство и суд за дерзость в отношении полкового командира, которого он по обыкновению вызвал на дуэль за замечание перед строем полка.

— Где это видано, чтобы поручик, мальчишка совсем, дерзил воинскому начальнику, находясь при службе! — отреагировали на событие высшие чины и приказали арестовать Толстого.

Фёдор Иванович, понимая, что явно переусердствовал, кинулся в бега и скоро с помощью покровителей нашёл прибежище в составе посольской миссии, заменив в ней своего дальнего родственника... тоже Фёдора Толстого. Подмены как бы не заметили, и вскоре опальный граф отправился по морю к новым приключениям.

В плавании, проявив весь свой необузданный нрав и впадая порой в дикое состояние от скуки, в число героев-первопроходцев граф не попал, будучи отчисленным из посольской миссии, как только судно прибыло на родные берега — на Камчатку: спровадили графа со скандалом с корабля за шалости, без средств и всякой поддержки. Не теряя присутствия духа, граф решил добраться самостоятельно до Русской Америки и, отметившись в этих крайних российских пределах, вернулся в Петербург, являя миру крепкий дух, покрытое замысловатыми татуировками тело, бесчётное число рассказов о своём полном героизме походе за два океана и полное отсутствие разумных границ здравого авантюризма.

Отбив по возвращении ссылку за проделки и непослушание в далёком гарнизоне, ведя неравную схватку с Бахусом и предаваясь картёжным утехам, повзрослевший граф Толстой, пройдя героем войну со шведом и французом, достиг границ почтенного возраста. Но колорита граф не потерял и после сорокалетия, проиграв в карты свою холостяцкую жизнь и женившись на известной в столице цыганке-танцовщице Авдотье Тугаевой. Авдотья включилась в процесс с энергией и родила графу в скором порядке двенадцать детей. Вот беда! Одиннадцать из новорождённых умерли в младенчестве. И эта череда смертей

близких потрясла графа, ибо число умерших детей соответствовало числу убитых им на дуэлях, и это был знак свыше. После таких потрясений попытался Толстой ходить в церковь, отмаливая грехи молодых лет и прося у Бога оставить в живых единственную дочь.

И вот минули шесть лет с той размолвки за картами у князя Шаховского. Как водится, новый монарх, в противовес прежнему правителю, призвал многих сосланных назад в столицу. Пушкин с багажом опубликованных поэм, стихов и повестей, где уже и «Бахчисарайский фонтан», первые главы «Евгения Онегина», «Борис Годунов», и проза, и стихи южного цикла, и особенно божественное «Я помню чудное мгновенье...», вернулся в столицу.

После встречи и беседы с императором Николаем Павловичем Александр первым делом исполнил долг чести. По его поручению к графу Толстому Пушкин направляет доверенное лицо — друга поэта, Соболевского — с вызовом на дуэль. Но графа не застают, и как будто удалось узнать, что нет его в столице, и непонятно, где его искать: граф как будто спрятался.

А граф между тем действительно хитрил, пребывая в состоянии полной нерешительности и нежелания нарываться на гнев Пушкина. Сцепиться с ним вновь не было желания. Наоборот, не вдруг, почитав последние

опубликованные работы Александра Сергеевича, крепко задумался Фёдор Иванович о том, что не было ещё в России такого автора, который так широко, обильно, талантливо льёт на душу бальзам, ласкает ум и душу, излагает мысли столь точно, умно и красиво, что дух захватывает и ищешь, увлечённый темой поэмы, продолжения, вчитываясь в новые и новые строки сего откровения. И слова находят ведь Пушкин такие, что как бы и известны, но звучат необычайно по-новому, свежо и ясно. Кто так ещё мог написать о нас, о наших чувствах и порывах, о запретных желаниях и мотивах невероятных поступков?

По просьбе графа ему доложили о планах Пушкина на вечер.

— Будет в салоне к шести. Обещал прочесть последние разделы «Онегина» по просьбе княгини Шаховской.

Собравшись, готовый к серьёзному разговору граф Толстой отправился к Шаховским загодя.

У Шаховских ещё было тихо. Переговорив с князем, граф теперь ожидал прибытия Пушкина, и тот, вероятно, в нетерпении, что с ним часто бывало, прибыл и, войдя в гостиную, увидел своего противника. Но прежде чем грубо встретить обидчика, после возгласа графа о том, какое счастье видеть гения и героя российской литературы в столице, оказался в крепких объятиях Толстого.

Несколько отстранившись от опешившего и уже было закипевшего в своём негодовании поэта, граф воскликнул:

— Знаю, зол ты на меня, брат Пушкин! Достоин я, конечно, доброй порки и готов её от тебя получить, но стреляться с тобой не буду! Дорог ты нам, брат! Давай как-то мириться!

И слеза, хрустальная и совершенно неестественная, сверкая, скатилась со щеки на костюм графа.

Пушкин стоял обомлевший, не находя слов, ждал, не веря в подобный исход так долго копившегося негодования. Но граф не отходил и теперь, несколько деланно изображая заинтересованность, взял поэта под руку, удерживая жёстко локоток, и стал спрашивать о том, что ещё нового, неопубликованного привёз поэт в столицу. Попытки Пушкина вырваться из вдруг возникшего плена оканчивались неудачей, и ему пришлось отвечать. Несколько невнятно бормоча, он сначала неохотно, а затем, увлекаясь, активнее стал рассказывать о написанном и о планах, в которых было множество позиций. Особенно заинтересовало графа известие о подготовке рукописи на тему Пугачёвского восстания.

— Ну, ты, брат, замахнулся. Тема-то горячая, но непростая. Дадут ли добро сверху? — укаывая недвусмысленно в высокий потолок гостиной, спросил Толстой.

— Надеюсь, мне это не помешает, — ответил Александр, отмечая, что уже собрались гости и с интересом слушают его беседу с графом Толстым, и вдруг ему стало понятно, что всеми глубоко забыта не стоящая и гроша та размовка, что случилась у них с Толстым шесть лет назад.

Пушкин успокоился и, уже увлечённый новыми расспросами, совсем перестал горячиться, предался новым стремлениям, заговорил живо, в красках описывая свои путешествия по югу, говоря то о создаваемых им литературных образах, то о приключениях и впечатлениях в поездках. Толстой между тем совсем не отходил от Пушкина и по завершении чтения стихов и разговоров о поэзии, перейдя к светским новостям, поднял бокал за здоровье поэта Александра Пушкина, призывая всех выпить за успехи столь талантливого литератора. Пушкин, получив столько внимания, несколько скептически оценил жест Толстого, тем не менее, вскинув голову, с улыбкой, сияя глазами, поблагодарил публику за приём, а графа за добрые слова.

С этого вечера граф Толстой и Пушкин стали друзьями.

*Картёжной шайки атаман,  
Глава повес, трибун  
трактирный,  
Теперь же добрый и простой  
Отец семейства холостой,  
Надёжный друг, помещик  
мирный  
И даже честный человек.*

Такие вот слова о Толстом, сдержанные, но уже вполне уважительные, появились вскоре, и все поняли — конфликт улажен.

В декабре 1828 года Александр Пушкин прибыл в Москву и оказался на большом приёме, где познакомился с шестнадцатилетней красавицей Натальей Гончаровой. Очарованный красотой юной Натальи, просил поэт графа Толстого об одолжении — просить от его имени руки девушки у чопорных московских дворян Гончаровых. Но случилась неудача: встретили посланника холодно и сообщили, что дочь ещё очень молода и замуж ей пока рано. Вечером, в окружении московских кутил, Пушкин с Толстым, пребывая в отчаянии, решили, что осаду следует продолжить, взяв паузу. А уж коли отдадут Наталью за другого, что уж делать, — такова воля Господа. «Я пленён, я очарован, словом — я огончарован!» — эту фразу Пушкин повторял в кругу друзей чуть не по десять раз на дню, и стало понятно: не мимолётная увлечённость, а большое чувство посетило поэта.

— Созрел брат Пушкин! Пришла пора остепениться и перестать теревить да задирать бабы подолы без толку! Детишек пора своих на руки брать, — оценил по-своему порыв и настроение Пушкина Фёдор Толстой и пообещал добиться для Александра его избранницы.

Пушкин в печали уехал на Кавказ, в действующую армию, ища душевного примирения со

своей теперь, как ему казалось, нешуточной неудачей.

Прошло время, и, вернувшись в столицу, понимая, что чувства к красавице Гончаровой не остыли, Пушкин вновь посылает Толстого к родителям Наташи и при известной напористости графа добивается благосклонного ответа. Затем следует венчание в храме Вознесения Господня на Большой Никитской в Москве, шафером на свадьбе выступает Толстой, а Пушкин, развивая свой афоризм, с удовлетворением твердит, что он «огончарован и, наконец, — окольцован».

В жизни Пушкина наступает период счастливый, семейный, плодovitый на творческий результат. Александром Сергеевичем созданы циклы поэзии и прозы, у него родились дети. Женитьба вдохновила, дала яркий импульс для жизни и творчества. А потом случились события, приведшие к роковой дуэли.

Сказывают, что когда граф Толстой, проживая в это время в Москве, узнал о смертельной дуэли Пушкина на Чёрной речке, то расплакался, долго горевал и сокрушался, а затем часто говорил, что многое бы отдал, чтобы заменить своего друга в этом поединке, и обещал отомстить Дантесу за гибель поэта. Возможно, именно поэтому соперник Пушкина на дуэли так поспешно покинул Россию.

Вот если бы граф был ближе к Пушкину и жил в это время

в Петербурге, может быть, сумел бы Фёдор Иванович изменить ход событий, вмешавшись в смертельный спор.

## **ФЕДЯ-БАЙКЕР**

У аэродрома на полянке, покрытой только-только распустившимися, несмотря на июль месяц, жёлтыми одуванчиками на ослепительной зелени травы, маялись отпускники в ожидании самолёта. Кто сидел на чемодане, а кто-то прямо на траве, с нетерпением вглядываясь в голубую даль, раскинувшуюся над бескрайней тайгой северной золотоносной провинции.

Несколько поселковых работников горно-геологической экспедиции и старателей артели собирались на большую землю, как говорили здесь, — на материк, отдохнуть и поправить здоровье. Материком называли большую заселённую обжитую территорию страны, оторванность от которой ощущалась всегда остро. Казалось, что здесь они временно среди таёжных бескрайних угодий, как десант на чужой планете, хотя многие просто не мыслили себе иной жизни и, оказавшись на материке, в родных краях, вскоре начинали маяться душой и грезить образами своего «острова» — с трудом обжитого места в море тайги или тундры.

Кто-то из отпускников ехал к семье, кто-то в тёплые края, мечтая о солнце и море, вине и

пашлыках, доступных женщинам, а кто-то просто выбирался из посёлка, не имея ни цели, ни какого-либо плана, осоловев от тяжести полученных утром в кассе предприятия пачек банкнот в карманах и растущего ощущения свободы и, казалось, безграничных возможностей.

Наставить отпускников по установившемуся в посёлке правилу приехал заместитель экспедиции по хозяйству Иван Андреевич с участковым милиционером Кузьмой Бархатовым. Оглядев критически скучившихся на полянке отпускников, прибывшие стали внушать отъезжающим правила поведения на большой земле. Наставления эти были как своевременными, так и совершенно бесполезными, а главный тезис в наставлениях был прост и очевиден, как карандаш в стакане, — не пить в дороге, нигде не задерживаться, а ехать прямо к месту, не отвлекаясь на местных проходимцев и шлюх, особенно в аэропорту, куда отпускников вскоре должны были доставить.

— Всем советую: в «Мечту», что на площадке возле аэропорта, не заходите вовсе. Там можно без штанов остаться, — давал последние наставления Иван Андреевич, зная по опыту, что непременно кто-то из отъезжающих наставление это нарушит, зайдёт в ресторан, что раскинул свои сети со столь соблазнительной многообещающей вывеской.

Многие знали, что если соберётся бедолага с невинной мыслью перекусить вкусенько и выпить на дорожку качественного коньяка, чуток шиканув, то запросто окажется в итоге очень скоро снова в посёлке, без денег и документов, с серьёзно подорванным здоровьем и в совершенно расстроенных чувствах. Место это славилось своим своеобразным гостеприимством, а именно до мелочей отработанным способом отъёма денежных купюр, заработанных горняками и старателями за долгие месяцы и годы тяжёлого, как сам драгметалл, труда.

Среди отпускников был и Федя-Байкер, сорокалетний холостяк, оптимист и неприкаянный бродяга в нескладно сидящем, совершенно новом, чёрном в белую строчку костюме, алой рубашке с непомерно широким воротом, в ярко-оранжевом галстуке и шикарной фетровой шляпе. Всё это добро ещё пару часов назад висело на вешалке поселкового магазина, а теперь, спешно оказавшись на Фёдоре, несуразно топорщилось, отказываясь признавать в нескладном горном рабочем своего владельца и протестуя облегать его тщедушный организм. Фёдор выбирался в отпуск впервые за последние три года и был необыкновенно воодушевлён, но при этом абсолютно трезв, рассчитывая гульнуть культурно по прилёте и отбыть, наконец, в родную деревню, где

ждали сына и брата многочисленных родственников.

Своё прозвище Байкер Фёдор получил по недоразумению. Любил Федя присочинить, рассказывая о событиях своей или чужой жизни, пофилософствовать на темы, ему порой, прямо скажем, малознакомые. Обычно, начиная рассказ, часто на самую банальную тему, Фёдор скоро начинал входить в транс и накручивал подробности выхода в свет с такой ловкостью в красноречии, что скоро сам забывал конечную цель своего сказания, оказавшись вдруг совершенно в иной плоскости и временном отрезке исторического процесса. И вот в один из таких моментов кто-то из приятелей, долго слушая увлечённо заливающего колокола Федю, обозвал его Байкером, имея в виду, по безграмотности, то, что Федя сочиняет байки.

Тут в разговор встрял второй кореш Феде, заявив, что байкер — это как-то неверно звучит. Вот он читал книгу Конана Дойля про светящуюся в ночи страшную собаку Баскервилей, убивающую людей, так он жил на улице Байкер-стрит, а потому выходит, что Байкер — это, видимо, фамилия какого-то деятеля.

— Ну и что? Каждый писатель — вун-сочинитель, так на какой ему улице жить, — возразил приятель, — как раз на улице Байкера. И потом, может, фамилия у того, в честь кото-

рого назвали эту улицу, была Стрит, а Байкер как раз и есть по-ихнему — сочинитель.

— Да нет! — вновь возразил кореш Феде. — Я узнавал, стрит — это улица по-английски.

— Ну, тогда всё понятно, Байкер-стрит — улица врунов. А как ещё можно назвать людей, сочиняющих такую хрень про светящуюся в темноте собаку?

На том и порешили.

Как ни странно, прозвище-нелепица закрепилось за Федей и стало вторым именем. Было решено: любишь и умеешь врать, сочинять небылицы — значит, ты байкер.

Своим прозвищем Федя загордился особо, когда раздобыл журнал с крупным, на развороте, фото заморского мачо в стильных тёмных очках, шляпе и кожаных штанах, верхом на сверкающем хромом «Харлей-Дэвидсоне» и с яркой дамой в крохотной кожаной юбчонке на заднем диване мотоцикла. С удовольствием прочитав, что это и есть байкер, Федя повесил картинку у себя над кроватью, порой любуясь и представляя себя на месте загорелого американца.

Образ байкера запал Фёдору в душу. Теперь при знакомстве, протягивая руку для пожатия, Федя говорил:

— Фёдор, — и, сделав паузу, увесисто подчёркивал: — Байкер.

Получалось, что Байкер как бы фамилия, которая на самом деле была по-русски проста, как выдох, — Свистунов.

Вскоре отъезжающих позвали к самолёту, прибывшему и украсившему местный аэродром, на котором, кроме оранжевой бочки для керосина и развевающегося на шесте полосатого мешка-кишки, более ничего и не было. По прилёте Федя, раскрасневшись от волнения, огней аэродрома, увидел в надвигающихся ранних сумерках сверкающую надпись «Мечта» и, сам не заметив перемены своего состояния, уже двигался по тесной дорожке мимо палисадника, напрямик к стеклянной двери ресторана, как, очевидно, всякий мотылёк летит на огонь, рассчитывая остывшей душой согреть хотя бы тельце.

У двери ресторана с неоновой надписью «Добр... ..жаловать!» пританцовывали от нетерпения две девахи с непомерно длинными ногами в красных колготках, с вызывающе-боевой раскраской лиц и свирепо торчащими вздыбленными грудями. Навстречу Фёдору раздались возгласы удивления, восхищения:

— Какой мужчина!

И он был тут же подхвачен под руки милыми дамами, одурманенный невероятными ароматами парфюма и уже совершенно счастливый, шагнул в пропасть ресторана. Фёдор вдруг как-то сразу уверовал в искреннее гостеприимство и чистые помыслы принимающей стороны, совершенно забыв утренние наставления ответственных товарищей. Его встречали с музыкой, гремела гитара, пара девиц, одетые в цыганские броские наряды,

озорно и зазывающе подмигивали, трясли цветастыми юбками, раскачивали бёдрами и качали грудями, подавали поднос с угощением. Федя выпил, его обняли и повели, потом налили ещё...

«Пей до дна, пей до дна...» — это последнее, что помнил Фёдор.

Очнулся Федя от странного ощущения, как будто его кто-то пытался брить-скоблить тупой безопасной бритвой: на лице было мокро и липко, потом пахнуло смрадом псины. Федя сразу почувствовал озноб и жуткий холод, его колотила дрожь. Открыв с огромным трудом глаза, он увидел над собой огромную лохматую харю с мокрым носом, свесившимся до земли языком и ушами, которые громоздились на огромной башке пса бесформенными лопушками. Собака, отметив, что человек очнулся, села на землю и горестно заскулила, словно оплакивала несчастного, затем огляделась, как бы выискивая того, кто может помочь безрассудному горемыке. Федя осмотрел себя и, мало удивившись, отметил, что на нём только рубашка, изрядно испачканная, трусы и ботинки, а сумки, шляпы, пиджака и штанов не было. Не было и денег, так увесисто разместившихся утром в карманах и сумке. Где всё это его весомое богатство и что случилось с ним, Фёдор не помнил совершенно.

Пси́на, которая теперь сидела и внимательно рассматривала Федю, выглядела странно. Огромная лохматая голова

каким-то образом уживалась с длинным тщедушным телом на кривых коротких ногах. Впечатление о псе завершали безнадежно обвисший хвост и невероятно грустные слезливые глаза, над которыми громоздились увесистые, в складках, нависающие брови.

Фёдор подался по пустым ещё улицам в сторону вокзала и, наткнувшись на зевающего у дверей сержанта милиции, попросил его увезти в представительство родного горного предприятия: сейчас хотелось одного — поскорее домой. Сержант, нимало не удивившись, расспросил потерпевшего, вошёл в положение и предложил Фёдору старые штаны, брошенные кем-то за ненадобностью. Вскоре мученик со свалившейся на него собакой предстал перед глазами начальства и, глядя с тоской, попросился домой, по-детски всхлипывая. Пёс поддакнул, легонько тявкнул и лизнул в знак поощрения руку обретшего его хозяина. Начальник, видевший всякое, скривился, махнул рукой и определил явиться завтра на вертолётную площадку.

На следующий день на вертолёт, заказанном экспедицией для заброски геологического отряда в тайгу, Федя прибыл в посёлок.

В посёлке не удивились прибытию Фёдора, и только местные собаки недружелюбно приняли псину, так что пришлось нескладёныша нести на руках,

благо руки были не заняты. Так и пришёл Федя к своему домишке в обнимку с собакой — тёплой душой, для которой его жизнь была небезразлична. Изведав местного собачьего гостеприимства, пёс теперь не выходил из двора, а только выставлял из приоткрытых ворот огромную лохматую голову и утробно лаял, и этого было достаточно. По посёлку прошёл слух, что привёз Фёдор то ли кавказца, то ли какую иную дикую огромную псину. Но отпуск продолжался, и, заняв денег у горняцкой братвы, зажили было, но в сельмаге повстречал Федя старого приятеля-охотоведа, который, узнав, что Фёдор ныне не при делах, позвал его поработать на заимке:

— Делов-то — поправишь домишко, крышу починишь, дров заготовишь, с капканами да ловушками разберёшься. А зимой, если хочешь, давай поработай на охоте. Знаешь, людей не хватает, а зверья нынче ожидается много.

Фёдор, намаявшись без дела, согласился и на другой день уже по реке на лодке добрался до заимки, где с псом разместился в ветхом охотничьем домике, который следовало прибрать к зиме. Руки ремесло знали, дело спорилось, и скоро дом приобрёл вполне жилое состояние.

Как-то Фёдор собрался половить хариуса в ближней протоке и отправился налегке. Собака, освоившись уже в тайге, молча следовала за ним. Фёдор увлечённо удил вечно голодных рыб и,

снимая очередного красавца с крючка, разглядел на другом берегу реки медведя. Медведь, учуяв человека, встал на задние лапы и, покачавшись из стороны в сторону, направился через реку в сторону рыбака. Стало тревожно. Медведь, казалось, был настроен решительно. Убегать? Было уже поздно, ведь Фёдор знал, что от косолапого в тайге не убежишь.

И тут мирно спавший под кустом пёс, учуяв неладное, шмыгнул по высокой траве к берегу и, выставив из зарослей огромную голову с лопухами-ушами, уставился на бредущего через реку медведя.

— Ть-рр-гаф! — визгливым противным голосом заявил о себе нескладёныш, провозгласив ещё дважды своё собачье отрицание медвежьей агрессии.

Медведь покрутил головой, выискивая обладателя столь противного лая, и, увидев в траве голову пса, крепко задумался: что-то в его лохматой дикой голове не сложилось, и косолапый, презрительно фыркнув, рванулся вскачь по воде и далее назад в чашу леса.

— Ну, ты, брат, даёшь! Спас! Спас меня снова, — тискал пса на берегу Фёдор, настолько остолбенев от пережитого, что не мог стоять и сидел теперь, обхватив голову своего спасителя.

Пришла зима, стало холодать, и по ночам затрещали лиственницы, лопаюсь от мороза. Фёдор, надышавшись воздухом

тайги, решил провести зиму на заимке, занимаясь охотой. Взяв в аренду у охотоведа добрую лайку Елизаветку, весёлую выученную охотницу светло-палевого окраса с замечательным хвостом-калачом, отправился Фёдор по реке на лыжах к заимке, благо основной груз ещё по осени завезли на лодке. Встал вопрос: а как быть с псом, к которому и имя как-то не приставало. Бежать по снегу он не мог, в отличие от Лизки, поэтому пришлось несуразную псину тащить в рюкзаке. Так и шли три десятка километров по реке. Фёдор на лыжах едва скользил, утаптывая глубокий снег с двумя рюкзаками: в одном, что на груди, была снедь всякая и припасы, а во втором, что висел на спине, сидел пёс и крутил головой, то и дело стараясь лизнуть хозяина в заиндевленную щёку. Идти по глубокому снегу нескладёныш не мог: его коротких лап едва хватало брести даже по неглубокому снегу. Лизка носилась окрест, оглашая лес звонким лаем от собачьего восторга при виде какой-либо живности.

Пришли на заимку, и начались охотничьи будни. Петли, ловушки, приманки, выслеживание зверя по следу. Дела пошли неплохо. Лизавета сноровисто отрабатывала свой хлеб, загоняя на дерево то белку, то соболька. Пёс, совершенно не приспособленный к охоте, оставался в избе и радовался, когда хозяин и Лизка возвращались с охоты.

В один из дней, ещё до больших холодов, возвращаясь с обхода петель и капканов вдоль реки, Фёдор увидел барахтающегося в воде, на самой быстрине, волка. По следам было видно, что серый пересекал реку вдоль промоины, а тонкий лёд у её края не выдержал и проломился. Теперь волк безнадежно пытался выбраться, но лёд ломался, и зверь снова и снова оказывался в воде, теряя силы. А вода на стремнине уходила с шумом под лёд, увлекая и волка, — тот боролся из последних сил. Федя скинул лыжи и, распластавшись на них, по льду стал скользить к промоине, страшно рискуя оказаться в воде, — лёд был ещё крайне ненадёжным. Оказавшись у края промоины, Фёдор увидел глаза волка — глаза смертельно уставшего зверя смотрели пристально, в них был и испуг, и мольба, и звериная неукротимость духа. Фёдор ухватил волка за холку и потянул к себе, старясь вытащить на лёд. Зверь, уже несколько выбравшись, прихватил зубами вторую руку Фёдора, сжал зубы, но ровно на столько, чтобы показать свою силу и решимость биться до конца. Фёдор, собрав все силы, рванул зверя и вытащил его, наконец, из воды на край полыньи. Волк тут же отпустил руку человека, встал на лапы и, покачиваясь, потрусил неуверенно к кустам на берегу. Поднявшись со льда на берег, волк замер, повернул угловатую

голову, а осмотрев долгим взглядом своего спасителя, явно запоминая его, потрусил дальше и вскоре скрылся в чаще леса.

Фёдор вернулся в домик, а утром, услышав, как занервничала Лизавета, вышел глянуть на причину такого её поведения и, выйдя на крылечко, увидел своего вчерашнего серого знакомца. Волк стоял поодаль на пригорке в компании с двумя сородичами, и они смотрели на Фёдора, а на тропе, почти у самого крыльца дома, лежала тушка зайца, уже застывшего на морозе.

— Вот так! — подивился Фёдор и поднял добычу, как следовало понимать, принесённую волком в знак благодарности.

Волк, как будто вполне довольный, ещё мгновение смотрел на Фёдора, а затем, круто развернувшись, затрусил восвояси, отчаянно косолапя. А на следующий день, обходя петли и капканы, Федя отметил, что из одной из петель, выставленных им в распадке, исчез попавший в неё заяц.

— Вот проныра! — восхитился волком Фёдор, отметив вереницу волчьих следов разного размера — знать, с выводком ходил петли проверять спасённый им в протоке зверь.

«Какой же всё-таки удивительный этот мир», — думал Фёдор, сидя вечером у потрескивающей горящими поленьями печи и теребя за ухом своего спасителя-нескладёныша, устроившегося рядом на лавке. Вспомнился

вдруг волк с его долгим пытливым взглядом серых глаз и его доверием к человеку в критические мгновения жизни. Подумалось, что ищем порой в жизни то, что не ведаем, а если находим простое живое участие другого человека ли, существа, — как важно остаться благодарным даже за малое его проявление.

## **СКРЕПЫ ЖИЗНИ**

Раннее утро, а Иван Тихонович уже оседлал сруб из свежих брёвен и знай себе тюкает-постукивает ладным, сияющим на восходе солнца топориком.

Рядом по срубам выхаживает, важно выгнув шею, петух с иссиня-чёрной, с переливами индиго и красного, шеей, потряхивает горделиво головой с мясистым гребнем и периодически размахивает раскрытыми веерами-крыльями, а вытянув шею, голосит во всю ивановскую, то есть на всю округу, что Суеткой зовётся. Вот знать не знаешь Ивана Тихоновича, а сразу поймёшь: любит своё строительное и столлярное ремесло человек. Видно это хотя бы по тому, как умело тешет бревно, любовно оглядывая свежий затёс, как в тысячный раз удивляется, как ладно по его велению меняется под топориком форма такого податливого, но непростого материала. И выходит как-то сразу красиво. А помахав топором, остановившись, с прищуром глянет на сотворённое и своей широченной

натруженной ладонью погладит брёвнышко, как бы извиняясь за причинённое беспокойство и успокаивая древесину.

Петух тем временем, отметив, что его подопечные наседки захлопотали у кормушки, слетел со сруба и горделиво прохаживался теперь среди сбившихся у кормушки кур, а затем без предисловий взялся теребить серую молоденькую курочку, искусно массируя её когтистыми лапами. Молодуха, ошалевши от петушиных ласк, вдруг взялась орать сверх меры, за что тут же была бита главарём курятника крепким клювом. Добавили пеструхе и опытные, выслуживающиеся перед петухом курицы постарше, а та, удирая в сторону огорода, так отчаянно раскидывала когтистые лапки, что выронила на бегу яйцо.

По улице, мимо сруба, гнали коров на выпас деревенские — женщины да подростки. Односельчане, привычно отметив с раннего утра Ивана Тихоновича на срубке, кивали-приветствовали, — знать, уважали деда. А Иван Тихонович, оглядывая с верхотуры всю эту пылящую по улице сельскую малосильную челядь, не то что родню, но, условно, близких людей, подбоченился и в какой-то момент сам стал похож на петуха, так победно он вскидывал голову и грозно вымахивал ладным, сияющим топориком, на ходу отвечая поспешно и коротко на приветствия.

Изрядно помахав топором, поправив то, что с вечера в сумерках было недоделано, Иван Тихонович соскользнул привычно со сруба и, сияя влажным лбом, отправился попить водички. Я как посторонний наблюдатель, городской недотёпа и великовозрастный внук Ивана Тихоновича толкался во дворе, ожидая завтрака, но, похоже, это мероприятие было последним в череде утренних занятий деревенских жителей, для которых завтрак соединяется с обедом и полдником, такая безостановочная череда дел наваливалась с восходом летнего жаркого солнца.

Хозяйка Марфа Васильевна пропадала в сарайчике, где то доила корову, покладистую Варварку, то кормила гусей-уточек, то взялась гнать кормилицу на выпас, а вернувшись, сразу без посиделок кинулась в огород. Пока ещё прохладно, пополоть нужно грядки! Марфа Васильевна сновала по огороду, и в её порывистых энергичных движениях совершенно не угадывалась многодетная мама преклонных лет, пережившая войну с четырьмя малолетними детьми на руках. Там травку Марфа Васильевна повыдергает, тут поправит помидоры, пощиплет отростки, созревшие плоды снимет и отправит в корзинку. И, казалось бы, занята бабушка привычной, как дыхание, работой, а покрутившись в огороде, вышла во двор и, мило, с ямочкой на щеке, улыбаясь, протянула

ладонь с ягодами — иссиня-чёрным паслёном, что рос сорняком в огороде. Казалось бы, сорная трава этот паслён, а лучшего лакомства для ребятишек не было, и это сразу напомнило мне отрешённые, самозабвенные денёчки моего детства.

— Ягодку, сынок, попробуй, паслён уж поспел, — предложила нараспев бабушка, застенчиво и несколько с грустинкой улыбаясь мне так, что было понятным и совершенно прозрачным её ко мне величайшее расположение. Я, смутившись от столь редкостного, но такого дорогого откровения, подставил, как в детстве, для получения угощения свои теперь уже широченные ладони и получил горку свежих ягод, дух от которых сразу освежил память. Память вернула меня в те летние денёчки, что наступали с восходом солнца и заканчивались где-то у реки в ту пору, когда светило, пройдя свой обыденный путь, принималось грызть-выгрызать край крутого обрыва на берегу реки, стремясь уйти тихо за краюху земли.

Так случилось, что Марфа Васильевна мне маму заменила. Появился я на свет в молодой семье, в которой сразу закипели страсти, переходя порой в мордасти, и волею судьбы оказался я на попечении Ивана Тихоновича и Марфы Васильевны, пока мама училась и налаживала свою жизнь. Так сизмальства звал я бабушку мамой.

Марфа Васильевна, в отличие от многих в деревне женщин, дождалась мужа с войны. Правда, пришлось терпеть годы лихие без просвета, только дети и спасали. Жили своим двором да огородом, едва дотягивая до нового урожая на картофельных очистках и найденной в земле промёрзшей картошке, что находили весной после схода снега. А потом ещё ранняя крапива спасала да вера, что когда-то кончится проклятушая война. Мужа и отца ждали-заждались, но, как всегда, встреча произошла неожиданно. Оказалось, что и дети не собраны для встречи, да и сама Марфа в огороде пласталась измождённая да растрёпанная.

А Иван шагнул во двор исполоином. Уверенный и такой незнакомый: в шинели и гимнастёрке, с которой срослось тело, позвякивая медалями и скрипя добротной кожей портупей и офицерских сапог, с повадками и голосом начальственными, жёсткими, стриженный совсем коротко и со взглядом ястреба из засады. Но, обняв детей и крепко потискав саму Марфу, как-то преобразился и, обошедши свой двор, свои уголья, стал неспешно узнаваем. А когда взял в руки топорик, что так и лежал в ожидании мастера все военные годы в пристроенной к сараю мастерской, да рубанком прошёлся по бруску, извлекая знакомые звуки и запахи из древесины, тут и вовсе стал понятен, и повеяло

родным от воина, пропахшего потом, кровью и порохом войны. А потом, уединившись к вечеру и выплеснув первые порывы страсти, сидели на кровати, и Марфа выискивала и гладила свежие отметины на теле мужа, оставленные раскалённым металлом: тут вот глубокая рана на боку, здесь косою рубец шрама от осколка, а на ноге заметная выбоина ниже бедра и нет мизинца на левой ноге.

— Как побило-то тебя, Ванечка, — чуть ли не запричитала Марфа, прослезившись, а Иван лежит, закинув руку за голову, дымит папиросой и вовсе отказывается что-то комментировать, только морщится и сердито так сопит, с прищуром глядя в потолок.

Вскоре после возвращения Иван Тихонович стал председателем сельского совета и в лёгкой бричке с нетерпеливым вороным скакуном, в привычных теперь для него чёрных галифе, хромовых сапогах или в белоснежных бурках, при костюме, с часами с цепочкой в нагрудном кармане, выглядел крайне убедительно.

А потом дед «зачудил». А иначе — загулял. Как говорится, первый парень на деревне, герой. Настродалась бабушка от походов Ивана Тихоновича.

Вставал периодически вопрос о том, чтобы уйти от такого мужа, что без совести по одиноким бабам не только своей деревни, но в округе уже отметился. Как соберётся по делам

ехать куда-то на своей бричке, сердце у Марфы сжимается, и ночи напролёт порой не спит она, всё думает да представляет, как прод — её Иван — там с чужой бабой забавляется, ласкает, мнёт, нежит и слова ласковые говорит. Утром же, взявшись за дела домашние, покормив малолетних Нину и Петра, рождённых уже после войны, и собрав в школу старших, успокаивалась, забывалась и к вечеру, весёлая, шла встречать своего Ивана, как всегда, озабоченного вида и во все не показывающего, что гулял на стороне.

Так вот терпелось и притиралось ненастье с непогодой в жизни Марфы. Когда же детки малые подросли, а взрослые поразъехались, оглянувшись она на свою жизнь и, махнув рукой на все сплетни и лукавые взгляды односельчан, что кратко множили беду, решила, что мужика этого не переделать. Понимала, что натерпелся он тоже — шутка ли, всю войну с германцем да потом ещё полгода с японцем разбирался на фронтах мировой войны. А ещё очень берегла Марфа Васильевна воспоминание о том, как увёл когда-то её Иван от первого суженого, увёл прямо из-под венца практически, примчавшись как-то на санках к дому, где проживала тогда Марфа. Не знала она, не думала о том, как могла сложиться её жизнь с тем первым женихом. Только вот оказалось, что это сумасбродное событие наперекор

уговору, вопреки установленному порядку, некоей формальной логике, оказалось самым ярким в её жизни. И событие это, возгоревшись искрой и занявшись пламенем, показало, насколько способны мы менять жизнь и по своему усмотрению, и по нагрывшему невесту откуда лихому порыву.

Жили они в соседних деревнях, и присмотрел Марфу Иван как-то на масленицу, стал заезжать да заговаривать с ней. А затянув с ухаживаниями, прознал вдруг, что сосватали Марфу, прямо к ней заявился и стал звать, почти требовать идти за него. Марфа смущалась, отнекивалась, хотя сразу Иван её глянулся: красив, ладен и серьёзен был плотник из Суетки. Но не решалась Марфа нарушить уже данное обещание жениху местному, и дело шло к свадьбе. Но Иван не оставлял надежды и в один из вечеров подкараулил в проулке сосватанную невесту, увлёк за собой уговорами и объятиями, и Марфа, не чуя ног, оказалась вдруг в возке, и лихая скачка по заснеженной степи сквозь настигший их буран закончилась жаркими объятиями в длинной, без сна, ночи. Утром Марфа была уже совсем другой, — вся во власти этого человека — и каждый раз заливалась краской при воспоминании о том сумасбродстве.

А успокоилась, как ни странно, Марфа после нечаянной встречи у небогатого на ассортимент

деревенского продмага. Как-то собралась сходить, прикупить сахарку да ткани на наволочку, а глядь — у магазина среди баб Клавка толчётся, та самая баба из соседней деревни, к которой, было дело, частенько шастал Иван. Клавка, как углядела Марфу, подбоченилась и с вызовом выставила грудищу свою, что теснилась в кофточке округлыми дыньками. Стоит-таращится бесстыжая, смотрит надменно, испытующе на Марфу. Рядом с Клавой толкался малец лет трёх. Мальчѳ прижимался к мамке и теребил подол её платья, кутал лицо в мамкину юбку. Марфа сразу отметила знакомые черты в детском личике. Знать, сынок Ивана, сообразила она, припомнив, что однажды ей уже говорили, что родила бабѳнка из соседней деревни от Ивана. Малец был миленький и показался Марфе совсем родным. Она и позабыла про свою непутѳвую соперницу, шагнула к мальчугану и протянула ему прикупленные для внука конфетки-подушечки. Мальчѳ застеснялся и совсем стал похож на внука Славку, но конфетку взял, глянув снизу на мамку. Та только фыркнула и дѳрнула плечом, не ожидала, видать, столь мирного разбора их с женой Ивана раздора. Марфа на неё и бровью не повела, погладила мальчика по головке и пошла к дому, ни разу не оглянувшись. А Иван всё отнекивался, что сынок у него народился.

А потом случилась трагедия. Клавка, молодая ещё совсем баба, приболела, оказалось, перитонит у неё. Повезли в район, где она и померла, не вынеся тягот больничных. Малец остался один, на руках мамки Клавкиной. Хотела было Марфа забрать мальчишку в дом к себе и Ивану, но тот упѳрся: не мой, мол, и весь тут сказ! А коли не мой, какого рожна тащить чужое дитя по жизни? У нас вот свой, мало кому нужный, кроме нас, довесок в виде внука Славки.

Но беда одна не ходит. Както не вернулся к вечеру из поездки Иван, а сердце не давало покоя, вещало: беда пришла.

Было снежно той зимой, частенько шумел буран, застилая глаза и укрывая дорогу в степи перемѳтами. Марфа знала, что поехал муж в соседнюю деревню провести совещание с местными, да понимала, что, видать, и сынка своего Иван всё же навещал, и смотрела на это после смерти Клавки спокойно. А теперь Марфу что-то подняло, и, спешно одевшись, отправилась она к Куприяну — мужу старшей дочери — с просьбой поехать в ту деревню, ибо сердце не на месте. Тот поворчал, натягивая полушубок, собрался, наконец, и, снарядив лёгкие сани, решил ехать. А Марфа с ним увязалась.

Слепило снегом жутко: сидели в возке укутанные, облепленные снежными лепѳхами плотно.

Но конь ходкий оказался и до рогу как-то чуял, а на полпути к злополучной деревне наткнулись у дороги на возок, что завалился боком в снег, а рядом метался запутавшийся в постромках конь Ивана. Самого нашли скрюченного в возке, укрытого кошмой и уже изрядно занесённого снегом.

Ивана переложили в свой возок, укрыли — муж был в сознании, но держался за бок, постанывал и охал от боли. Коня Ваниного взял Куприян в привязь, и так вернулись в Суетку. По дороге Иван, морщась от боли, поведал, что в буран сбились с дороги, потеряли укутанную твердь, — санки и перевернулись, а конь стал метаться, запутался в постромках, выбился из сил и завалился в снег. Иван взялся его поднимать и выпутывать, а молодой жеребец, вконец обезумев, ударил кованым копытом в бок и, похоже, переломал рёбра: дышать было невыносимо больно.

Утром, после пурги, с утра сияло солнышко, сверкал свежий снег. Ивана решили свезти в районную больницу и снарядили сразу тройку лошадей, и сам Куприян повёз тестя, укутанного в огромный тупуп.

— Ты аккуратнее, Куприян, не оброни Ивана-то, — только и успела сказать, провожая мужа, Марфа.

Так вот спасла своего Ивана Марфа, а тот, отлежавшись в больнице, вернулся и вечером

за столом у топленной печи, выпив стопку горькой, не говоря ни слова, повинился перед ней, уткнувшись в тёплое и мягкое, но такое крепкое плечо спутницы своей, данной Богом.

Так и просуетилась-протолкалась по хозяйству Марфа Васильевна, не накормив завтраком мужчин. Благо дело Иван Тихонович сам себе и хозяйка, и непривередливый хозяин: налил кружку утреннего, ещё тёплого, из-под коровы процеженного молока и с вечера испечённым, с хрусткой корочкой, хлебом быстренько перекусил, предложив и мне действовать тем же образом.

В деревне добрая треть домов строились Иваном Тихоновичем. Как вернулся с войны, так и началась эта бесконечная страда строительная, к которой прикипел душою ещё до войны. С войны пришёл не сказать, что здоровый, но на своих ногах и с руками целыми: побило несколько раз осколками, пулей зацепило, что, конечно, беспокоило, но активно жить и работать не мешало. На первых порах пришлось из старшины артдивизиона стать председателем колхоза, а затем сельсовета — мужиков отчаянно не хватало, так что коммунист, прошедший войну, хотя бы с тремя классами образования, был находкой для местных властей. Но скоро отпросился Иван Тихонович с

должности и вернулся к своему делу — отстраивать деревню. Со временем справил дома и детям своим старшим, поселив рядом.

Мы перекусили с дедом, сидя на крылечке, и мне многое довелось узнать о строительстве деревянного дома. Оказывается, слова «рубить дом» неслучайны и вполне точны.

— Теперь вот все норовят зашливать пазы да резать брёвна пилой, что, конечно, быстрее и попроще будет. А вот раньше только топорами зарубали все углубления в бревне, да и брёвна старались перерубать, оттого что при рубке-то древесные волокна сминаются под топором и надёжно перекрывают пористую структуру древесины от влаги, — поучал меня Иван Тихонович. — Вот и выходило, что рубленные дома стоят по сто и более лет. Влагу не берут в себя, не рассыхаются, не гниют, — продолжил наставления плотник. — А вот ещё есть секрет постройки тёплых да долговечных домов: брёвна в сруб нужно класть не абы как, а только северной стороной бревна наружу, тогда бревно долго не рассыхается и теплее будет хата, — разошёлся с наставлениями Иван Тихонович, смоля очередную папироску.

— А как же узнать-то, где эта северная сторона у бревна, да и

в чём разница? — недоумевал я, внимательно оглядывая бревно, которое мы готовились положить в сруб.

— А вот смотри, — Иван Тихонович показал мне на срез. — Годовые кольца плотнее с северной стороны. Вот этим боком и нужно класть бревно наружу от хаты.

Я смотрю — и правда, бревно уже налажено для сруба именно плотной стороной наружу.

— Вот ведь как! — воскликнул я. — Знаешь и любишь ты своё дело, дед!

— Люблю, не люблю... Ведь что такое построить дом? Это сделать жизнь теплее, вольнее. В новых домах рождаются дети. Заметил я: как для молодых дом поставим, — сразу пошли плодиться-размножаться. Значит, там любовь угнездилась, и просторно ей в новом доме да уютно, — ответил Иван Тихонович, слегка задумавшись, видимо, что-то вспоминая.

А глаза в этот момент у деда такие светлые, с прищуром, и улыбка на лице, обращённая в себя. А через мгновение, сбросив наваждение, шагнул в сторону сруба, на ходу нагнулся, поднял обронённое ошалевшей несущей яйцо и, хитровато подмигнув мне, заметил:

— А вдруг яйцо-то золотое!